



**Т. А. КУЗМИНСКАЯ**

## **Ясная Поляна (1908)**

Из книги: «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне».  
Часть II. 1863—1864

Какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич! Зачем и почему сложилась моя жизнь? Видно, так нужно было.

Много душевных страданий дала мне жизнь в Ясной Поляне, но много и счастья.

Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее — другом и советчиком. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Для меня он был чистый источник, освежающий душу и исцеляющий раны.

Начало июня. Я с братом уже в Ясной, так же, как и Анатолий, и Кузминский<sup>1</sup>. Я живу с тетенькой Татьяной Александровной<sup>2</sup> в одной комнате. Брат и оба cousins в другом флигеле. Школа уже распадалась, и из учителей остались Томашевский, переделанный в управляющего, Келлер и Эрленвейн<sup>3</sup>. Соня<sup>4</sup> весела, бодрa, но мало принимает участия в наших развлечениях по своему нездоровью. Мы до того счастливы видеть друг друга, что разговорам нашим нет конца.

Лев Николаевич хотя и поглощен хозяйством — пчелами, баранами, поросятами и т. п., но, любя молодежь, уделяет нам часть своего времени и принимает участие в пикниках, кавалькадах и прогулках. Летом он почти совсем не писал, но мне казалось, многое записывал в свою книжечку, которую он носил постоянно в кармане. Однажды я спросила его: «Что это ты все пишешь в свою книжечку?» Он усмехнулся: «Да вас записы-

ваю», — сказал он. «А что в нас интересного?» — добивалась я. «Это уж мое дело. Правда — всегда интересна».

Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, тоже часто приезжал в Ясную Поляну из своего имения Пирогова. Не привыкши видеть такое большое общество молодежи в Ясной, он, со свойственным ему юмором, посмеивался над молодым, беспечным оживлением, царившим в доме, хотя и сам охотно принимал в нем участие. Сергей Николаевич был человек, одаренный тонким умом, большим тактом и внутренним художественным чутьем. Между двумя братьями было семейное сходство, до такой степени сильное, что однажды во время своего пребывания в Москве Сергей Николаевич приехал к нам, и на его звонок отперла дверь няня, а не лакей, знавший графа, которая с волнением доложила матери:

— Любовь Александровна<sup>5</sup>, приехали Лев Николаевич, да только черный!

Опишу сначала, что представляла собой Ясная Поляна в те времена.

Теперешний большой дом был флигель, схожий с другим флигелем. Наверху в нем было 5 комнат с темной каморкой, а внизу одна комната с каменными сводами, бывшая кладовая, и рядом небольшая комнатка, откуда вела наверх винтовая деревянная лестница.

Настоящий большой дом, стоявший между двумя флигелями и построенный Волконским, был продан на снос помещику Городову и сгорел в девятисотых годах<sup>6</sup>.

В теперешнем большом доме наверху были: спальня, детская, комната тетеньки, столовая с большим окном и гостиная с небольшим балконом, где обыкновенно после обеда пили кофе.

Внизу комната со сводами меняла, на моей памяти, много назначений. Она была столовой, детской и кабинетом Льва Николаевича. Художник Репин написал ее<sup>7</sup> кабинетом Льва Николаевича.

В саду была теплица для зимних цветов и оранжерея с персиками чудной породы. Садовник был Кузьма. Когда позднее завели цветы, он делал мне букеты такие, какие продают обыкновенно в магазинах, и я их очень любила.

При тетеньке жила, как я уже писала, Наталья Петровна Охотницкая<sup>8</sup>, вдова армейского офицера. Она была не то чтобы глупа, а так себе — дурковата. Она рассказывала, как у ней был ребенок и как они шли куда-то в поход с солдатами. «А я ехала в фургоне, — говорила она, — с ребеночком: я кормила его. А дорогой-то у меня молоко-то и пропало. Я и стала его соской кор-

мать. Нажую, бывало, хлеб и в тряпочку завяжу. Он совсем было привык уж, да на десятый день-то и помер! Жалко же мне его было!» Лев Николаевич очень любил разговаривать с ней.

Иногда, после серьезных занятий, Лев Николаевич заходил в комнату тетушки. По лицу его я видела, что ему хотелось что-либо выкинуть; прыгнуть куда-нибудь, сказать какую-либо глупость. Но однажды он спросил меня серьезно:

— Таня, а ты еще ничего не рассказывала мне, что с тобой в Петербурге было? Мне же надо знать, как ты там справлялась? — полушутя, полусерьезно обратился он ко мне.

Я думала, что он выспрашивает меня из участия, и красноречиво рассказала ему все, что могла. Тетеньки в комнате не было, а Наталья Петровна меня не стесняла. Лев Николаевич часто оттаивал меня вопросами: «Что же, ты чувствовала, что это было нехорошо?» или: «Как же он был с тобою?» и т. п. Я и не подозревала тогда цели его вопросов и была с ним откровенна. Обыкновенно же он обращался с расспросами к Наталье Петровне. А то помню раз, как он сам рассказывал:

— Наталья Петровна, вы знаете, я читал в газете, что прилетели птицы зефироты<sup>9</sup>, большие, с длинными клювами, не виданные нигде...

— Ай, ай, батюшки! — качая головой, говорила старушка, — не к добру это!

— А что же это значит? — спросил Лев Николаевич с любопытством.

— Да не то к войне, а то и к голоду. Ведь птиц-то и вообще во сне видеть нехорошо, к потере, — глубокомысленно говорила Наталья Петровна.

И Лев Николаевич, улыбаясь, слушал ее.

Странно, Лев Николаевич прямо любил «божьих людей»: недоразвитых, полусумасшедших, скитальцев, странниц и даже пьяненьких, как он сам однажды выразился:

— Ужасно люблю пьяненьких. Этакое добродушие и искренность!

Ехавши по большой дороге верхом, он встретил мужика и бабу. Мужик ругался, баба молчала. Но когда Лев Николаевич поравнялся с ними, баба стала унимать мужика:

— Замолчи, вон граф едет.

— А что мне граф! Я — сам граф!

Мы, слушающие его, конечно, оспаривали это добродушие и эту искренность. Интерес к этим людям и оказываемое им гостеприимство он наследовал еще от матери (в «Войне и мире» княжна Марья — тип его матери). Издавна тетушками и бабуш-

ками велся этот обычай странноприимства. В Ясную Поляну приходило много нищих, странниц и скитальцев. Они шли на богомолье в Киев, Новый Иерусалим и Троице-Сергиевскую лавру. Их кормили и подавали милостыню. Со многими беседовал Лев Николаевич.

Однажды пришел нищий, бывший и ранее в Ясной Поляне. Он был полусумасшедшим и признавал только свою религию. Лев Николаевич звал меня слушать его.

— Ты вникни в то, что он говорит, у него пресложная религия. Он из крестьян, его дома не кормят, «нехрист» говорят. Он и скитается по деревням.

— Ну, Гриша, — говорит Лев Николаевич, — как поживают твои боги?

Гриша щурился от солнца, припоминая что-то, его сумасшедшие глаза останавливались на одной точке. Он был очень бледен и худ.

— Да, да, — начал Гриша, — бог Ивлик родил бога Излика, они тут, они со мной! — стуча себя в грудь, говорил он.

— А зачем они с тобой? — спросит Лев Николаевич.

— Добру учат... добру, — отрывисто говорит он.

— Какому добру? — спросила я.

— Не пей, не бери чужого... не завидуй...

— Куда же ты идешь? — спросил Лев Николаевич.

— Боги гонят: Киев... иди... иди... — И он махал рукой, указывая вдаль.

— А что же, ты слушаешься их и идешь в Киев?

— Иду... иду... благодати возьму... Милостыни подай, — обращаясь к нам, говорил Гриша<sup>10</sup>.

Его кормили, давали денег. Но если давали много, например до рубля, он не брал, говоря:

— Много, не надо!

— А кто же запрещает тебе брать много? — спросят его.

— Бог Ивлик да бог Излик накажут: много не надо!

Он жил у нас дня два-три и уходил опять скитаться. Через полгода он снова возвращался.

Другой юродивый, приходивший в Ясную Поляну уже позднее, был тоже крестьянин. Он воображал себя чуть ли не вельможей и называл себя «князем Блохиным». Сумасшествие его проявлялось в мании величия. Он проповедовал, что господам жизнь дана «для разгулки времени», как он выражался, что им ничего не надо делать, а только получать чины и жалованье.

А когда Лев Николаевич спрашивал его, смеясь:

— А ты, князь, какой же чин имеешь?

— Я? — закричит он весело. — Я князь Блохин, всех чинов окончил!

Этот юродивый был всегда весел, в нем не было ничего страдальческого, как в Грише.

— Сенокос скоро, ты поди, покоси, — говорил ему нарочно Лев Николаевич.

— Никак невозможно-с князю косить.

Много позднее, уже когда Лев Николаевич стал менять свои воззрения и были взрослые дети, он, смеясь, говорил нам:

— Здесь все сумасшедшие. Единственный здравомыслящий, себя не обманывающий — это князь Блохин.

А то, я помню, еще разговор в этом духе с Михаилом Васильевичем Булыгиным<sup>11</sup>. Это было позднее, в восьмидесятых годах. Булыгин был сосед по Ясной Поляне, помещик. В молодости — военный, а затем, бросив службу, поселился в деревне. Прочитав статью Льва Николаевича «Так что же нам делать?», он стал отчасти его последователем.

Лев Николаевич был гораздо старше его; он любил его и ходил к нему в Хатунку и много беседовал с ним.

Был чудный майский день. Лев Николаевич был в Москве. Булыгин, бывший в 1886 г. в Москве, зашел к нему. Они сидели за чаем на балконе, выходящем в сад.

— Что за большое здание виднеется там, за забором сада? — спросил Булыгин.

— Говорят, это дом умалишенных, но я одного не понимаю: зачем этот забор? — ответил Лев Николаевич, улыбаясь при последних словах.

Булыгин весело засмеялся.

Простота в яснополянском доме поражала меня, пока я не привыкла. Никакой роскоши не было в нем. Мебель довольно простая, вся почти жесткая. За столом простые вилки и ножи.

В столовой и гостиной — олеиновые лампы, купленные отцом, а чаще горели калетовские свечи, как называли тогда полустеариновые, полусальные свечи. В людских — сальные свечки, у тетеньки калетовские. Простота эта распространялась не только на домашнюю обстановку, но и на привычки Льва Николаевича. Например, он спал всегда на темно-красной сафьяновой подушке без наволочки. Я, как сейчас, вижу ее с вшитыми бочками, как какое-либо сиденье в экипаже.

Когда Соня вышла замуж, несмотря на то что эта подушка очень удивила ее, она молчала. И лишь позднее, когда подушка стала уже не первой молодости, она решила сменить ее на шелковую, пуховую, присланную ей с приданым.

— Левочка, тебе ведь покойнее будет спать на большой, — сказала она с робостью.

В старину существовал обычай, что невеста привозила в приданое всю постель и двенадцать рубашек мужу. И этот обычай соблюдался во всех слоях общества и в народе.

Повар был одет очень неряшливо, как я заметила. Соня положила ему белые поварские колпаки и фартуки.

Людей в доме было немного. Горничная Дуняша и лакей Алексей, маленького роста, плотный, молчаливый, честный и очень привязанный ко Льву Николаевичу.

Когда Лев Николаевич задумал жениться, он спросил Алексея его мнение о невесте. Алексей, весело захихикав по своей манере, ответил: «Какова мать — такова дочь». И больше ничего не сказал.

Потом в доме жила девочка Душка, горничная Сони. Варвара, московская горничная, соскучилась и уехала в Москву. Жил еще повар Николай Михайлович, старик, бывший крепостной Волконского — флейтист из домашнего оркестра. Когда его спрашивали, отчего его повернули в повара, он, как бы обиженно, отвечал: «Амбушуру потерял»<sup>12</sup>. Я любила беседовать с ним о старине. Иногда он напивался и не приходил. Помощником повара и дворником был полуидиот Алеша Горшок, которого почему-то опозитизировали так, что, читая про него, я не узнала нашего юродивого и уродливого Алешу Горшка. Но, насколько я помню его, он был тихий, безобидный и безропотно исполняющий все, что ему приказывали. И всегда еще бегал и помогал всем, кому нужно было, какой-то мальчишка: Кирюшка, Васька, Петька — не припомню всех их.

На дворе людей было много: прачка Аксинья Максимовна, дочери ее, скотница Анна Петровна (мать горничной Душки) с дочерьми, староста Василий Ермилин, кондитер из крепостных Максим Иванович, рыжий кучер Индюшкин и другие. Но любимица моя была Агафья Михайловна (я писала о ней выше). Сухая, высокая, она была горничной еще при бабушке Льва Николаевича, графине Пелагее Николаевне Толстой. Она всегда вязала чулок, даже на ходу, мало говорила и очень любила животных, не имея никаких других привязанностей, так как была старой девой. Когда у Льва Николаевича бывали щенята от дорогих охотничьих собак, они воспитывались у Агафьи Михайловны, которая закрывала их своей одеждой. И когда сестра подарила ей теплую кофту, то и ее постигла та же участь.

С ней бывали уморительные случаи. Помню, когда гостил в Ясной Поляне мой брат Степан, уже бывши правоведем, Агафья

Михайловна очень полюбила его за его ласковое обращение с ней. Весной, когда она узнала, что у брата Степана начались трудные экзамены, она зажгла восковую свечу перед образом Николая-угодника. Это был ее любимый и чтимый святой. В это время я сидела у нее и мы беседовали. Она очень любила, когда я к ней заходила. Кто-то постучался в дверь, и вошел доезжачий, малый, ходивший за охотничьими собаками.

— Агафья Михайловна, как нам быть? Беда приключилась!

— А что? — испуганно спросила она.

— Да, вишь, Карай и Побеждай, гончие наши, значит, с утра в лес убегли, и до сих пор их нет.

— Ах, батюшки! Что ж теперь делать? И граф-то что скажут? — суетилась Агафья Михайловна. — Ты, Ванюшка, вот что, ступай верхом в Заказ — как бы они на скотину не напали, они, наверное, там рыщут. Да рог с собой возьми, потруби им.

— Знаю, знаю, — говорил доезжачий, как бы обижаясь, что его учат.

— Да ты скорей собирайся, не то уж темнеет.

Доезжачий ушел. Агафья Михайловна о чем-то раздумывала. Потом, вижу, она встала, пододвинула стул к образу, влезла на стул, потушила восковую свечу, подождала немного и опять зажгла ее.

— Агафья Михайловна, что это вы делаете, голубушка? — спросила я ее. — Зачем вы потушили и зажгли свечку?

— А это, матушка, она за Степана Андреевича горела, а таперица пускай за собак горит, чтобы нашлись скорее.

